

А. Г. Гродецкая

РЕМИНИСЦЕНЦИИ «НОВОЙ ЭЛОИЗЫ»  
В ФИНАЛЬНЫХ ГЛАВАХ «ОБЛОМОВА»

И «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

(еще раз о «тоске» Ольги Ильинской в «крымской»  
главе романа Гончарова)

«Это все Андрей: он привил любовь, как оспу, нам обоим», – произносит в третьей части романа Илья Ильич Обломов, утомленный исполнением роли страстного влюбленного в коротком летнем романе с Ольгой Ильинской [Гончаров 1998, 2004, Т. 4: 338]. И далее следует характерное гончаровское окрашенное иронией несобственно-авторское<sup>1</sup> повествование: «Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и все доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы и исполнено содержания, и текло бы тихо, день за днем, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва ползущих явлениях семейной, мирно-хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать ее широкой, шумно несущейся рекой, с кипучими волнами, как воображал ее Штольц» [Там же].

Мотив заражения оспой «во имя любви» восходит к третьей части «Новой Элоизы» (письмо XIV), где Сен-Пре посещает больную оспой Юлию, стремясь «разделить с ней недуг», от которого он «не мог ее исцелить» [Руссо 1961, Т. 2: 279]. У постели Юлии Сен-Пре заражается оспой. Эту сцену воссоздает одна из гравюр к роману с авторским названием «L'innaculation de l'amour» («Заражение во имя любви», или буквально «Прививка любви») [Там же: 697, 762].

В романе Гончарова мотив *любви – прививки оспы*, входящий в мотивный комплекс *любви – болезни, любви – аномалии* как на-

---

<sup>1</sup> По наблюдениям В. М. Марковича, у Гончарова в сфере несобственно-авторской речи (сочетающей различные формы речи несобственно-прямой, внутренней и замещенной) «разноречивые интенции, которыми “населено” двуглоное слово, не разделены и ни с одной из них не отождествляется полностью авторская или читательская позиция. При этом очень значительна роль повествовательной иронии, которая ни одной из различаемых здесь смысловых инстанций не позволяет остаться равной себе, обрести непоколебимую твердость (а тем самым – и право на безусловную читательскую солидарность)» [Маркович 1982: 85–86, 95].

рушения искомой «нормы любви», до последнего времени не был воспринят в качестве очевидной реминисценции «Новой Элоизы». Комментируя процитированные выше строки в издании «Обломова» в «Литературных памятниках», Л. С. Гейро сослалась на текст «Анны Карениной», где тот же мотив *прививки оспы* явился, по ее предположению, толстовским заимствованием у Гончарова<sup>2</sup>. В качестве прецедентного мотива<sup>3</sup> он же (и также без указания комментаторов на источник) присутствует и в романе Чернышевского<sup>4</sup>.

Стоит отметить попутно, что в гончаровских текстах сильный прецедентный мотив, к какому бы источнику он ни восходил (мифологическому, фольклорному, литературному), как правило, единожды возникнув, многократно варьируется, меняя тональность от лирической до иронической и пародической<sup>5</sup>. В данном случае мотив *любви – болезни* повторяется в 1-й главе четвертой части, когда Илья Ильич обретает покой на Выборгской стороне у Агафьи Пшеницыной: «Он каждый день все более и более дружил с хозяйкой: о любви и в ум ему не приходило, то есть о той любви, которую он недавно перенес, как какую-нибудь оспу, корь или горячку, и содрогался, когда вспоминал о ней. Он сблизился с Агафьей Матвеевной – как будто подвигался к огню, от которого становится все теплее и теплее, но которого любить нельзя» [Гончаров 1998, 2004, Т. 4: 383].

Любопытно, что и чувство Агафьи к Обломову, которому посвящены в четвертой части романа несколько проникновенных страниц (особенно любимых современными исследователями),

<sup>2</sup> Ср.: «Возможно, что этот оригинальный образ запомнился Л. Н. Толстому...» [Гейро 1987: 674]. Имеется в виду беседа гостей в салоне Бетси Тверской: «Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо пройти. – Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу» («Анна Каренина», ч. 2, гл. 7).

<sup>3</sup> Широкую трактовку прецедентности см.: Михновец 2006.

<sup>4</sup> С девушками в мастерской Веры Павловны время от времени случаются «обыкновенные истории»: «Это то же, что в старину была оспа, пока не выучились предотвращать ее. Теперь кто страдает от оспы, так уже виноват сам, а гораздо больше его близкие; а прежде было не то: некого было винить, кроме гадкого поветрия или гадкого города, села, да разве еще того человека, который, страдая оспою, прикоснулся к другому, а не заперся в карантин, пока выздоровеет. Так теперь с этими историями: когда-нибудь и от этой оспы люди избавят себя, даже и средство известно, только еще не хотят принимать его, все равно как долго, очень долго не хотели принимать и средства против оспы» [Чернышевский 1975: 138].

<sup>5</sup> См. об этом в содержательной статье: Рипинская 2004.

включается в ряд тех же мотивов-метафор, только ее *любви-болезни* поставлен облегченный диагноз: «Это как-то легло на нее само собой, и она подошла точно под тучу, не пятась назад и не забегая вперед, а полюбила Обломова просто, как будто *простудилась* и схватила *неизлечимую лихорадку*» [Там же: 380; курсив в цитатах здесь и ниже мой. – А. Г.].

Мотив любви-болезни с многочисленными вариациями (оспа, корь, горячка, лихорадка) – один из устойчивых в прозе Гончарова<sup>6</sup>, вообще отличающейся постоянством художественных приемов и средств. Он, как правило, выполняет функцию снижения, травестирования канонического для романтиков образа высокой болезни, безумства страсти, составляющего часть романтического мифа, в формировании которого предромантику Руссо принадлежала значительная роль.

Итак, в переживаемом чувстве герой узнает симптомы романтической *болезни*, что подается Гончаровым с иронией, обнаруживающей, кроме того, и детскость сознания Ильи Ильича, который в нарушившем его покой чувстве стремится найти виноватого. Упоминание «прививки любви» сигнализирует о том, что романная коллизия так или иначе проецируется на «Новую Элоизу».

Речь ниже пойдет главным образом о 8-й главе четвертой части «Обломова» (в специальной литературе получившей название «крымской»), рисующей семейную идиллию Ольги и Андрея Штольцев в их коттедже в Крыму. В романе Чернышевского для нас актуальна только полемическая реакция на «Обломова» (практически не исследованная<sup>7</sup>), однако реакция, зависящая от узнаваемой и соотносимой с «Новой Элоизой» сюжетной ситуации.

Роман Руссо как один из претекстов гончаровского романа рассматривался неоднократно, при этом «руссоистский текст» в тексте гончаровском обычно трактуется очень широко – от общности и преемственности этико-философской проблематики (как соотношение «обломка» и целого, проблема личностной дробности / целостности) до «руссоистских» прообразов в идиллической топике

---

<sup>6</sup> Болезнью представляется и Марку Волохову в «Обрыве» любовь Райского к Вере: «...я вижу любовь: она, как корь, еще не высыпала наружу, но скоро высыпет...» [Гончаров 1998, 2004, Т. 7: 391].

<sup>7</sup> Только подступы к теме намечены в работах: Егоров 1958; Теплинский 1989: 68–69; Гродецкая 2011.

Обломовки [см.: Мельник 1982; Мельник 1985: 31–34; Мельник 1995; Отрадин 1994: 123–133; Краснощекова 1997: 260–284 и др.].

Есть, на наш взгляд, основания для осторожного сближения двух этапов сердечного опыта главной героини Гончарова с опытом героини Руссо [ср.: Отрадин 1994: 127–133]. Первый опыт Ольги – любовь-страсть, второй – любовь-гармония и идеально счастливый брак, к которому вполне может быть применено определение «доверие прекрасных душ». Гончаров не допускает свою героиню в ее первом любовном опыте до грехопадения, но к самой его границе подводит. В сюжете «страсти» Обломова и Ольги важнейшую роль играет его музыкальная составляющая – пение Ольгой арии «Casta diva» из оперы Беллини «Норма», благодаря чему переживания героев возвышаются до романтических образцов. «У Гончарова *Casta diva* становится символом любви-страсти, стихийного всепобеждающего чувства, высокой духовности, единения влюбленных. Прозвучавшая в исполнении Ольги ария *Casta diva* помогла “родственным душам” – ей и Илье Ильичу – сразу узнать друг друга» [Отрадин 1994: 118]. Мысль о высшем предопределении имплицитно присутствует в этом сюжете: фамилия Ольги – Ильинская, ей по закону «избирательного родства» как будто была уготована роль избранницы Ильи Ильича.

Немало оснований и для сопоставления Штольца с господином де Вольмаром. Степень авторской иронии, постоянно звучащей в первой и второй частях романа и сопутствующей по преимуществу центральному персонажу и его двойникам-обломовцам, в последних частях заметно снижается – ни Штолец, ни Ольга объектом иронии не становятся ни разу. Подобно Вольмару, Штолец в финале романа выступает в роли учителя, мудрого друга-наставника Ольги: «Как мыслитель и как художник, он ткал ей разумное существование, и никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко <...> как теперь, нянчась с этой неумолкающей, волканической работой духа своей подруги!» [Гончаров 1998–2004, Т. 4: 454]. Супружеская роль Штольца, как и Вольмара, предполагает мудрое понимание и прощение первого сердечного опыта его подруги, чувство вины за который долгое время не оставляет Ольгу. В созидании супругами Штольцами «разумного существования», в гармонии сердца и разума, чувственно-страстного и возвышенно-духовного начал, которые реализует их счастливый союз, очевидно влияние просветительских идей.

Что еще в «крымской» главе определяется руссоистским кодом?

Изображение жизни Штольцев в Крыму сочетает, как и в романе Руссо, элементы идиллии и утопии [см.: Лукьянец 1999]<sup>8</sup>. Идиллическая топка в обоих романах маркирована. Кларан в «Новой Элоизе» – «чудесный, уединенный уголок», «райский уголок», в «Обломове» – «тихий уголок на морском берегу». Обитателям «очаровательного жилища» в Кларане чужда роскошь: «...здесь нет великолепия лишь потому, что им пренебрегают <...> оно состоит не в роскоши, а в прекрасном строе всего целого, в согласованности его частей и единстве замысла строителя» [Руссо 1961, Т. 2: 474–475]. Ср. у Гончарова: «Скромен и невелик был их дом. Внутреннее устройство его имело так же свой стиль, как наружная архитектура, как все убранство носило печать мысли и личного вкуса хозяев <...> Любитель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наружную разнорядицу мебели <...> везде присутствовала или недремлющая мысль, или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная красота природы» [Гончаров 1998, 2004, Т. 4: 446–447]. Идиллика в обоих текстах явлена как во временных (цикличное, дпящееся время), так и в пространственных (конкретность, локальность «уголка») координатах.

Понятно, что репрезентация идеальной действительности Кларана у Руссо полнее, подробнее, многообразнее, чем у Гончарова. Жизни в Кларане посвящена целиком пятая часть «Новой Элоизы». Это те полнота и разносторонность, которые «придают миру счастливых человеческих отношений основательность» [Лукьянец 1999: 36]. Счастливые отношения и счастливый быт не только супругов, но детей и родителей (семейные связи, по Руссо, служат отражением природного начала), гармонические отношения друзей, соседей, прислуги вписаны в совершенно гармоничный мир счастливых поселян: «Кларан – это государство в миниатюре, изображенное в соответствии с идеалами автора» [Занадворова 1993: 47]. Поскольку повествование ведется в письмах, то все подробное многообразие отношений героев с природно-социальным миром, отношений «деятельной доброты», не только изображается, причем с разных, хотя и созвучных, точек зрения, в письмах-трактатах развернута и этико-философская программа этих отношений.

С особой миссией героини Руссо – мудрой матери, следующей в воспитании детей идеям природно-социальной гармонии, ассо-

<sup>8</sup> О разных аспектах восприятия утопии Кларана (консервативная, хилиастическая утопия и др.) см. также: Занадворова 1993: 46–47, 133.

цируются в тексте «крымской» главы «грезы» Штольца: «Вдали ему опять улыбался новый образ, не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены, не матери-няньки <...>, а что-то другое, почти небывалое... Ему грезилась мать – создательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения» [Гончаров 1998, 2004, Т. 4: 455].

Но именно в ситуации семейно-природной идиллии Кларана героиню Руссо настигают «тайная тоска», «скука», «томление», чувство «отвращения к благополучию». «Переживания Юлии настолько сложны, – замечает Т. Л. Занадворова, – что читателю нередко трудно различить, где истина, а где заблуждения» [Занадорова 1993: 58].

Жить без борения человеку не свойственно, такая жизнь все равно что смерть, – признается Юлия в VIII письме 6-й части. – Тот, кто, не будучи богом, обладал бы всемогуществом, оказался бы несчастнейшим созданием – он лишился бы удовольствия желать, а легче перенести всякое иное лишение.

Вот и я со времени моего замужества и со дня возвращения вашего испытываю отчасти то же самое. Все вокруг должно меня радовать, а радоваться не могу. Тайная тоска закралась в душу, такая в ней пустота и сердце все щемит, – словом, то же, что вы говорили о себе. Привязанности моей ко всем дорогим мне существам недостаточно, чтобы она целиком захватила меня, – еще остается у меня бесполезная сила, и я не знаю, куда девать ее. Непонятное горе, – сознаюсь в этом, но я действительно страдаю, друг мой, я слишком счастлива, счастье наскучило мне.

Знаете ли вы какое-нибудь средство против отвращения к благополучию? Это чувство, столь безрассудное и совсем невольное, во многом отняло цену у жизни, меж тем как прежде я ею так дорожила. Я не могу себе представить, найдутся ли в жизни такие радости, коих у меня нет и кои дали бы мне удовлетворение. Быть может, другая женщина на моем месте была бы более чувствительна, чем я? <...> Может быть, она была бы лучше защищена от скуки и более крепкие нити привязывали бы ее к миру? И все же меня терзает тревога: сердце не знает, чего ему недостает, и смутные желания томят его.

Не находя на земле радости себе, душа моя жадно взыскует ее в ином мире; возносясь к источнику всех чувств и самого бытия, она освобождается от своего томления, от тоски своей, она возрождается, оживает, обретает новые силы и познает там новую жизнь; она получает новое существование, чуждое плотских страстей, или, вернее, она уже не во мне, она вся растворяется в

том беспредельном существе, которое она созерцает, освободившись на мгновение от пут своих, а когда снова чувствует их на себе, утешается мыслью, что извела состояние блаженства и исполнилась надежды на недалекое и вечное вступление в него. [Руссо 1961, Т. 2: 614–615].

Сравним с этой душевной исповедью Юлии состояние героини Гончарова в обстановке крымской идиллии:

Она боялась власть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она ни старалась сбить с души эти мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет да подкрадется сначала греза счастья <...> затем... смущение, боязнь, *томление*, *какая-то глухая грусть*, посылаются какие-то смутные, туманные вопросы в беспокойной голове.

Ольга чутко прислушивалась, пыталась, но ничего не выпытала, не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет душа, а только просит и ищет чего-то, даже будто – страшно сказать – *тоскует*, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед... <...> Она знала, у кого спросить об этих тревогах, и нашла бы ответ, но какой? <...>

– Что же это? – с отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась *скучна*, равнодушна ко всему в прекрасный, задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди ласк и речей мужа... [Гончаров 1998, 2004, Т. 4: 456–457].

Мудрым утешителем Ольги в ее душевных тревогах выступает Штольц:

Нет, твоя грусть, томление – если это только то, что я думаю, – скорее признак силы... Поиски живого, раздраженного ума порываются иногда за житейские грани, не находят, конечно, ответов, и является грусть... временное недовольство жизнью... Это грусть души, вопрошающей жизнь о ее тайне... <...> Это расплата за прометеев огонь! Мало того, что терпи, еще люби эту грусть и уважай сомнения и вопросы: они – переполненный избыток, роскошь жизни и являются больше на вершинах счастья, когда нет грубых желаний; они не рождаются среди жизни обыденной: там не до того, где горе и нужда <...> Они приводят к бездне, от которой не допросишься ничего, и с большей любовью заставляют опять глядеть на жизнь... <...> Мы не титаны с тобой, – продолжал он, обнимая ее, – мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и...

– А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше?.. – спрашивала она.

– Что ж? примем ее как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... <...> Он не договорил, а она, как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками. [Там же: 460–462].

Переживаниям гончаровской героини в финале романа В. А. Недзвецкий посвятил специальную статью «Тоска Ольги Ильинской в “крымской” главе романа «Обломов»: интерпретации и реальность» [Недзвецкий 2008]. Попыток интерпретации тоскотомления главной героини романа как в критике, так и в исследовательской литературе было предпринято немало, их, собственно, и приводит в своей статье В. А. Недзвецкий. Первую интерпретацию, как известно, предложил Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?», появившейся в № 5 «Современника» за 1859 год, то есть спустя месяц после публикации романа. «Автор не раскрыл пред нами, – писал о героине романа критик, – ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. <...> Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него» [«Обломов» в критике: 67–68]. Фактически повторил мысль Добролюбова Д. Н. Овсянко-Куликовский, писавший о стремлении Ольги «к разумной деятельности и плодотворной общественной работе»: «Спокойная, тихая, счастливая жизнь пугает ее, как призрак обломовщины, как болотная тина, грозящая затянуть и поглотить человека» [Там же: 264]. Той же причиной объяснял «томление» героини Гончарова и Р. В. Иванов-Разумник: «Ольга сама не понимает, что это с нею творится, а Гончаров, конечно, не позволяет ей догадаться, что хандра ее есть неизбежная реакция живого человека против мертвящей суши этического мещанства...» [Там же: 270]. Среди интерпретаций, учтенных В. А. Недзвецким, заслуживает внимания мнение Вс. Сечкарева, высказанное в его изданной в 1974 г. англоязычной монографии о Гончарове. Он видит в состоянии героини проявление «экзистенциональной скуки, которая охватывает человека в тот момент, когда он достиг абсолютного удовлетворения, пустоты, которую чувствует современный интеллектуал, которому



доступны все материальные блага, но который не способен найти ответ на коренные вопросы и мучим очевидной бессмысленностью жизни» [цит. по: Недзвецкий 2008: 79].

Убедившись в неполноте или же неточности большинства предложенных интерпретаций «тоски» гончаровской героини, Недзвецкий предложил собственную, основанную на анализе литературно-философских и мифологических прообразов «мятежной» ситуации, которая благодаря словам Штольца («Мы не титаны с тобой...») обрела «литературность», ориентацию на опыт героев Байрона и Гете и миф о Прометее. Однако не упомянутое В. А. Недзвецким имя Руссо должно, безусловно, предшествовать именам бурных гениев. Тоска, томление, скука гончаровской героини исключительно близка состоянию героини Руссо в конце романа, и именно этот прецедентный текст открывает путь к самый убедительной, на наш взгляд, ее интерпретации.

Почему, наконец, заслуживает сопоставления с «Обломовым» роман Чернышевского? Рецензии на роман Гончарова Чернышевский так и не написал, хотя известно, что такое намерение у него было [см.: Егоров 1958: 321; Гродецкая 2011: 148]. Из его немногочисленных высказываний о Гончарове, как правило, цитируют единственное, сводящееся к тому, что Гончаров «не понимал смысла картин, которые изображал» [Чернышевский 1948: 872]<sup>9</sup>. Не обнаруживаются ли в «Что делать?» пояснения к «картинам» Гончарова, им не понятым? Допуская известное упрощение, можно сказать, что Чернышевский воспроизводит фабульную схему «Обломова»: Вера Павловна Розальская-Лопухова-Кирсанова, полюбив одного из двух друзей (и выйдя за него замуж), позднее соединяет свою жизнь со вторым. Однако и Лопухов, явившись из Англии преуспевающим Бьюмонтом, находит счастье с Катей Полозовой. В итоге в романе счастливы обе супружеские пары, как счастливы (в ином, разумеется, осмыслении) две супружеские пары в «Обломове». Навязчивость картин семейного счастья в «Что делать?», помимо счастливой утопии «Четвертого сна», побудила Страхова назвать свою критическую статью о романе, который «учит, как быть счастливым», «Счастливые люди» [Чернышевский 2008: 555–576]<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> О контексте этого высказывания см.: Гродецкая 2011.

<sup>10</sup> Ср.: «Роман, конечно, написан сказочно, написан для прославления своих героев...»; «...устройство семейных отношений у г. Чернышевского причудливо до забавного и смешного» [Там же: 574, 596].

Поразительно приближенным к ситуации в «Обломове» и едва ли случайно дублирующим загадочное «томление» Ольги Ильинской в конце романа представляется возникающее в безоблачно-счастливом втором браке Веры Павловны непонятное ей поначалу и необъяснимое «недовольство»:

Не очень часто вспоминает Вера Павловна прошлое своей нынешней любви; да, в настоящем так много жизни, что остается мало времени для воспоминаний. Но когда вспоминает она прошлое, то иногда – сначала, точно, только иногда, а потом все постоянное – при каждом воспоминании она чувствует недовольство, сначала слабое, мимолетное, неопределенное, – кем? чем? – вот уж ей становится видно, кем: она недовольна собою, за что же? <...> И какой странный характер стал заметен в этом чувстве, когда стал выясняться его характер: будто это не она, Вера Павловна Кирсанова, лично чувствует недовольство, а будто в ней отражается недовольство тысяч и миллионов; и будто не лично собою она недовольна, а будто недовольны в ней собою эти тысячи и миллионы. Кто ж эти тысячи и миллионы? за что они недовольны собою? Если бы она по-прежнему жила больше одна, думала одна, вероятно не так скоро прояснилось бы это; но ведь теперь она постоянно с мужем, они все думают вместе, и мысль о нем примешана ко всем ее мыслям. Это много помогло ей разгадать свое чувство. Прямо он сам нисколько не мог разъяснить эту загадку: пока чувство было темно для нее, для него оно было еще темнее; ему трудно было даже понять, как это возможно иметь недовольство, нисколько не омрачающее личного довольства, нисколько не относящееся ни к чему личному. Это было для него странностью, во сто раз более темною, чем для нее. [Чернышевский 1975: 256].

В полемике, надо полагать, с Гончаровым, чьей героине ее странное состояние разъясняет Штольц, Чернышевский предлагает собственный рецепт, призванный излечить Веру Павловну от недуга. Если смысл «картины» у Гончарова остался «не понят», то у Чернышевского он конкретен и ясен. Помимо швейных мастерских Вера Павловна начинает вслед за мужем заниматься медициной и, преуспев в этом, от «недовольства» легко излечивается. Замечателен по-своему и, возможно, введен Чернышевским в текст романа как аллюзия на сцену из гончаровского романа (где Штольц вместе с Ольгой размышляет о том, что они «не титаны»), диалог Веры Павловны с Кирсановым, в котором ведущая партия в разъяснении «тайны жизни» принадлежит не учителю-мужчине, но женщине: «Рахметовы – это другая порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость,

наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь. А нам, Саша, недоступно это. *Мы не орлы*, как он. Нам необходима только личная жизнь. Мастерская – разве это моя личная жизнь? Это дело – не мое дело, чужое. Я занимаюсь им не для себя, а для других; пожалуй, и для моих убеждений. Но разве человеку, – такому, как мы, не орлу, – разве ему до других, когда ему самому очень тяжело? Разве его занимают его убеждения, когда его мучат его чувства? Нет, нужно личное дело, необходимое дело, от которого зависела бы собственная жизнь, такое дело, которое лично для меня, для моего образа жизни, для моих средств к жизни, для всего моего положения в жизни, для всей моей судьбы было бы важнее всех моих увлечений страстью, только такое дело может служить опорой в борьбе со страстью; только оно не вытесняется из жизни страстью, а само заглушает страсть, только оно дает силу и отдых. Я хочу такого дела» [Там же: 289].

Резонансность сюжетных ситуаций у Гончарова и Чернышевского по отношению к финалу «Новой Элоизы» свидетельствует о той огромной ценности, которую психологизм Руссо имел для обоих писателей.

### Литература

1. Гейро Л. С. Примечания // Гончаров И. А. Обломов / Изд. подготовила Л. С. Гейро. Л., 1987. С. 647–692.
2. Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1998, 2004. Т. 4, 7.
3. Гродецкая А. Г. О рецензии на «Обломова», не написанной Чернышевским // Обломов: константы и переменные: Сб. науч. статей. СПб., 2011. С. 148–153.
4. Егоров Б. Ф. Кого пародировал Н. Г. Чернышевский в рецензии на книгу Н. Готорна? // Вопросы изучения русской литературы XI–XX веков. М.; Л., 1958. С. 321–322.
5. Занадворова Т. Л. Жан-Жак Руссо: Художественный метод, традиции. Екатеринбург, 1993.
6. Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997.
7. Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века (автор, герой, сюжет). СПб., 1999.
8. Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е годы). Л., 1982.
9. Мельник В. И. Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов» // Русская литература. 1982. № 3. С. 81–99.
10. Мельник В. И. Реализм Гончарова. Владивосток, 1985.
11. Мельник В. И., Мельник Т. В. И. А. Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995.

12. *Михновец Н. Г.* Прецедентные произведения и прецедентные темы в диалогах культур и времен. Место и роль прецедентных явлений в творчестве Ф. М. Достоевского. СПб., 2006.

13. *Недзвецкий В. А.* Тоска Ольги Ильинской в «крымской» главе романа «Обломов»: интерпретации и реальность // И. А. Гончаров: Материалы Междунар. науч. конф. Ульяновск, 2008. С. 73–86.

14. Роман И. А. Гончарова в русской критике: Сб. статей / Сост., авт. вступ. ст. и комментариев М. В. Отрадин. Л., 1991.

15. *Отрадин М. В.* Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994.

16. *Рипинская Е.* Русский реалистический роман: мотив и сюжет (И. А. Гончаров. «Обрыв»: опыт анализа риторической организации романа): [http://www-old.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/NUM\\_11/HTML/page027.html](http://www-old.informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/NUM_11/HTML/page027.html)

17. *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961.

18. *Теплинский М. В.* Литературные реминисценции в романе «Что делать?» // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы: Межвуз. науч. сб. Саратов, 1989. Вып. 11. С. 67–78.

19. *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 13.

20. *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1975.

21. Н. Г. Чернышевский: Pro et contra. Личность и творчество Н. Г. Чернышевского в оценке русских писателей, критиков: Антология. СПб., 2008.

## С. А. Ларин

### «ВОДКА, ПИВО И ВИНО...»

### В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»

*Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 12-04-00041*

*«Семиотика и типология русских литературных характеров*

*(XVIII – начало XX вв.)»*

Сомневаясь в возможности изменить образ жизни Ильи Ильича Обломова, Андрей Штольц (перед тем как в последний раз встретится со своим другом в доме на Выборгской стороне) скажет про него жене: «При свидании готов на все, а чуть с глаз долой – прощай: опять **заснул**. Возишься, как с **пьяницей!**» [466]<sup>1</sup>. Пока-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее произведения И. А. Гончарова цит. с указанием в скобках тома и страницы по: *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб., 1997 (издание продолжается). Роман «Обломов» цит. с указанием только страниц. П/ж в цитатах – наш.